

Протопресвитер Александр Шмеман

Введение в литургическое богословие

И не отступил еси, вся творя, дондеже нас на
небо возвел еси и царство Твое даровал еси
будущее...

Литургия св. Иоанна Златоуста

Посвящается памяти
архимандрита Киприана (Керна)
(† 10. II. 1960).

Предисловие

Настоящая книга представлена была в качестве диссертации на степень доктора богословских наук в моей alma mater — Православном Богословском Институте в Париже. На защите ее 2-го июля 1959 г. оппонентами выступали профессора Института о. Николай Афанасьев и о. Иоанн Мейендорф. Их существенное согласие со мной, при расхождении в ряде частных вопросов, имело для меня исключительно важное и радостное значение. Ибо выводы, к которым я пришел, дались мне не легко и не сразу. Я позволю себе привести здесь выдержки из речи, произнесенной мною перед защитой.

«...Я хотел бы, чтобы была понята та богословская и духовная перспектива, в которой написана эта книга. Я ясно сознаю, что в ней я касаюсь той сферы церковной жизни, которая в силу разных причин молчаливо признавалась неприкосновенной, защищенной своего рода «табу» — во всяком случае, в Православной Церкви. Это сфера богослужения, литургической жизни, литургического опыта. Табу это восходит, если я не ошибаюсь, к митрополиту Филарету. Великий московский святитель, очевидно, ясно сознавал всю потенциально-неограниченную силу аввакумовства в церковной среде, когда рекомендовал не прикасаться критически-богословствующему разуму к области церковного культа. Наше богословие до сих пор строго соблюдало это «табу». Каковы бы ни были его дерзновения в других областях, как широко ни пользовалось бы оно свободной, религиозно-вдохновенной критикой — этим неотъемлемым условием всякого богословского развития, дерзновение и критика останавливались у священного порога храма, замолкали при первых словах извечно совершающейся в нем литургической мистерии. «Удобнее молчание» — и к этому молчанию призывало как чувство

благоговения, сознание, что здесь — «святое святых» Православия, так и мудрость житейская, знавшая, что прикасаться к сфере богослужения небезопасно, ибо в ней вся сила народной любви, народного благочестия, вся священная инерция религиозного чувства, уже давно скинувшего с себя опеку богословского анализа и оценки.

Перед теми, кто вдохновил меня на богословское служение в Церкви, перед моими учителями и собратьями в этом служении, я хочу и должен исповедать, что не из дешевого дерзания, не из дерзания ради дерзания я нарушил это «табу», а из верности богословию и его подлинному призванию в Церкви. Так случилось, что с конца патристической эпохи богословие стало как бы исключительно интеллектуальной сферой церковной жизни, не только *de facto*, но и *de jure* отделенной от сферы благочестия и богослужения. И если с недавних пор стали все чаще говорить о том, что благочестие и богослужение имеют прямое отношение к богословию, как его питательный источник, как «закон молитвы», определяющий «закон веры», то еще не было открыто, прямо и твердо заявлено и о священном праве богословия стоять на страже чистоты богослужения, верности его своему призванию и назначению; ибо, если богословие есть действительно раскрытие опыта Церкви в богоприличных, т. е. этому опыту соответствующих, словах и понятиях, если, далее, опыт Церкви дан, сообщен нам, живет в нас, прежде всего, в тайне литургической жизни ее, то богословие должно по необходимости стоять на страже и этого опыта, в меру своих сил и возможностей охранять его от засорения, искажения и извращения... Табу, о котором я только что говорил, больше не действует. На наших глазах совершается великий отход от Церкви. Подчеркиваю — не только восстание против нее демонических сил и духов злобы поднебесных, но именно размыкание человечества и Церкви.

В грохоте и шуме технологических революций, в мире, похожем одновременно и на сумасшедший дом, и на леса какого-то непонятого, грандиозного здания, общий план которого никому не понятен и которое все же строится, старые и привычные символы перестали доходить до человеческого ума, сознания, совести. Или, вернее, они стали только символами, лишились способности быть носителями силы, преобразующей «реальность» и как бы естественно, непреодолимо, победоносно подчиняющей ее — эту «реальность» — Царству Божьему, всеобъемлющей цели, провозглашенной Евангелием. Не случайно столько православных так любят символическое истолкование богослужения и этим истолкованием так легко удовлетворяются. Здесь, как в фокусе, находит свое выражение тот почти всеобъемлющий символизм христианского сознания, что пришел на

смену его исконному и столь же всеобъемлющему реализму. Благочестивый, церковный человек наших дней может с отвращением и негодованием смотреть на ненавистную ему «современность», кишашую кругом него, или же, наоборот, он может добродушно не замечать, что мир отшатнулся от Церкви и по-прежнему благословляет ставшую до конца чуждой христианству ткань истории. Он может быть по отношению к миру в состоянии злорадного апокалиптического пессимизма или же наивного, всепрощающего оптимизма. Все это ничего не меняет в его переживании Церкви... Оно ограждено, оно как бы «гарантировано» сложной, прекрасной, всеохватывающей сетью символов, удовлетворяющих его религиозное чувство и делающих его слепым и глухим по отношению к любой реальности. В том особом, единственном, ни на что не похожем, живущем своей собственной, от всего обособленной и ни от чего не зависящей жизнью, мире, который называется богослужением, реальность — всякая реальность — попросту исчезает, отрицается, растворяется. Ее нет. Богослужение к ней *не относится*, как не относится Пасха к случайной дате, на которую она падает в итоге сложнейших исчислений... Мы выходим из храма, и мы находим и мир, и все на той самой точке, на которой мы оставили их два часа до этого. Мы уходили, и вот, мы вернулись, кто с чувством исполненного «религиозного долга», кто с сожалением, что нужно снова окунуться в опостылевшую, трудную, злую жизнь. Да, возможно, с утешением, возможно, с возросшей силой тянуть и дальше лямку. Но чуда обновления нет, и его не могло быть. Нет сознания, что вот — все началось *снова*, с начала, что все возвращено к исходному пункту, что мы в *начале* — этом поразительном начале приблизившегося, открывшегося, дарованного, засиявшего дарами Св. Духа Царства Божьего... Чудо было в храме — закрытое, огражденное, таинственное: преложение Даров, превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, вечное, самождественное, неизъяснимое чудо, скрытое от всех взоров в глубине алтаря, закрытое крыльями серафимов, мистическая реальность — к профанному миру, в нашем сознании, отношения не имеющая и иметь не могущая.

Для русского эмигрантского мальчика, много лет назад с одинаковым усердием бегавшего во французский лицей и в православную церковь и на всю жизнь плененного этим таинственно-прекрасным миром богослужения, разлад и разнотой двух этих жизней — литургической и реальной — был не предметом отвлеченных спекуляций, а самой что ни на есть живой действительностью, ежедневным, привычным опытом. Но с годами становилось ясно, что опыт этот не единичный, не случайный — вызванный ненормальностью эмигрантской, безытной жизни — а опыт многовековой и общий, эмиграцией только очищенный от смягчавших его бытовых, житейских привычек и привычных, а потому и неприметных форм. С этим опытом, с этим вопросом я пришел к богословию, и богословие только заострило их. Ибо, с одной стороны, каждым своим словом, каждым утверждением оно провозглашало *тотальность* христианской веры, всю ее космическую, всеохватывающую, всеобъемлющую и все к себе относящую глубину

и жизненность а с другой — как на единственный путь исполнения этой веры, этого замысла преображения и спасения указывало все на ту же Литургию, на Таинство великое и страшное, людям оставленное и заповеданное, как путь к Царству... Богословие ограждало от всех соблазнов дешевых перетолкований и модернизации христианства, подчинения его всевозможным «идеологиям» и «проблемам», переводу его на «современный» язык, приспособлений и вульгаризации. Оно действительно учило видеть, ценить и любить только Истину. И оно, наконец, указало путь к разрешению вопроса — не «вперед» в смысле «модернизации», и не «назад» — в смысле «реставрации», а в вечный и надвременный замысел богослужения, в искание в нем самом заложенного ответа. В конечном итоге, то, что я хочу сказать, очень просто, хотя, может быть, простоту эту найти сейчас и не очень просто. А именно — что истинный замысел богослужения состоит не в символическом, а в *реальном исполнении Церкви*: новой жизни, дарованной во Христе, и что это вечное преложение самой Церкви в Тело Христово, ее *восхождение* — во Христе и со Христом — в эсхатологическую полноту Царства и есть источник всякого христианского делания в мире сем, возможности «поступать как Он»... Не система прекрасных символов, а возможность — в мир низводить тот поедающий и преображающий огонь, о котором Господь томился — пока он разгорится...